



И. БИКЕРМАН

«Отщепенцы» в квадрате

«Сажать капусту важнее, чем писать книги», — писал недавно г. Струве и мысль свою, как особо важную, подчеркнул курсивом. Написавши эти слова, он, однако, не принялся разводить капусту, а продолжает писательствовать. И это жалко: самая дешевая капуста имела бы еще большую цену, чем последние писания г. Струве, пустые, сумбурные, неприличные, попросту дрянные. Вопросы общественной жизни так многосложны, разномыслие по ним так обычно, естественно и закономерно, что редко можешь с полным убеждением мысль, не согласную с твоей, мысль своего противника клеймить столь резким словом, как я это только что сделал. Но когда это бывает, тогда твое право становится твоей обязанностью. Если человек станет нам доказывать, что все зло в мире от злости, и каждое слово своей проповеди пропитает ненавистью, обильно сея вокруг раздражение и злобу, то он сам произнес приговор над собою и своим делом и нам остается только закрепить его соответствующим словом. Если человек станет убеждать вас, что красота есть основа всего возвышенного в жизни и все некрасивое в то же время мерзостное, и эту проповедь красоты поведет так, что вызовет неодолимое чувство отвращения у присутствующих, то такой человек сам дал вам в руки мерило, которым вы безошибочно можете мерить его, его слова и его дела. Именно нечто подобное случилось с теми семью мудрецами, которые во главе или в центре с г. Струве ополчились против русской интеллигенции. Они собрались судить других и осудили себя, они думали обнаружить язву на чужом теле — она оказалась на них, и вместо торжественного собрания грозных судей пред нами — жалкое скопище самооплеванных людей.

I

В сборнике «Вехи» сошлись люди разных специальностей, и каждый из них зовет русскую интеллигенцию к своему суду и судит ее по своим законам. Г. Бердяев считает себя — неизвестно на каком основании — философом, и он нашел, что интеллигентская правда противоречит философской истине. Г. Булгаков, в качестве христианина и православного, открыл грех интеллигенции в ее героизме, противоположном христианскому подвижничеству и христианскому смирению. Г. Гершензон приглашает русского интеллигента просто «стать человеком», уверенный, очевидно, в том, что сам он, Гершензон, достиг этого «высшего из всех званий» — по определению Жуковского. Юрист Кистяковский громит интеллигенцию за то, что она «никогда не уважала права». Политик и государственный Струве уличает интеллигенцию «в безрелигиозном отщепенстве от государства». Для г. Франка, философа культуры, вся беда в нигилизме русской интеллигенции, а г. Изгоев — в чем его специальность, не берусь сказать — пересказывает по чужим трудам, какой процент студенческой молодежи занимается онанизмом. Если бы в эту компанию затесался подлинный сапожник, он бы написал статью «Русская интеллигенция и сапоги», из которой было бы совершенно ясно, что интеллигенция в сапожном деле ничего не понимает и что это есть главный ее порок. И от этого нестройность хора лишь немногим увеличилась бы. Мы ведь и теперь не знаем, потому ли оказалось у русской интеллигенции семь смертных грехов, что нашлось столько же охотников ее обличать, или же перечисленные обличителями пороки все неразрывно связаны с многогрешной природой русского интеллигента и в то же время вполне исчерпывают ее греховность. Остается неизвестным также, в чем, собственно, общая основа всех этих грехов — по крайней мере, авторы прямо не указывают этого. Мелькает, правда, по всем страницам сборника «безрелигиозность», которая будто и есть мать всех пороков интеллигента. Но господа обличители не потрудились сговориться насчет того, что понимают они под религией, и мы поэтому не знаем, что такое безрелигиозность. То, что по этому поводу говорится в предисловии, слишком недостаточно и темно. «Первенство духовной жизни над внешними формами общежития» — это может значить столь многое и различное, что без дальнейших пояснений оно ничего не значит. Вместо общей мысли — общая фраза.

Это не мешает авторам сборника предъявлять к нам весьма нескромные требования. «Вехи» вызвали восторг среди гасителей света и гонителей свободы и негодование в среде передовой, рвущейся к свету и свободе части общества. От лобзания первых и проклятий последних г. Струве хотел бы отделаться весьма простым и удобным способом. «Основное в “Вехах”, — пишет он, — основное и шире всякой политики как таковой». Он, Струве, занимается, видите ли, «основным вопросом жизни, религией», и на эту тему приглашает он нас побеседовать с ним. Г. Франк также приглашает нас не обращать внимания на «частные выводы» и заняться центральной идеей «Вех» о культурном перевоспитании личности на основе религии. Позвольте, господа, в самом начале отклонить ваши неуместные притязания. Позвольте напомнить вам, что Америку религиозного мировоззрения не вы первые открыли. Писали на эту тему погромче вас витии, и мы с ними считались — возражали им или соглашались с ними. Если вы хотите, чтобы мы считались с вами, с вашей философией, потрудитесь раньше показать ее нам, предъявите нам свои философские труды. Вопрос о религиозном миропонимании шире, общее и отвлеченнее русской интеллигенции, русской революции, ее удач и неудач. Потрудитесь же поставить этот вопрос во всей его широте, разработайте его в тех выработанных уже человеческим гением формах, которые одни могли бы гарантировать нам ваше умение и желание добросовестно разбираться в такого рода вопросах, и тогда мы с вами будем беседовать. Пока же вы не философский трактат о религии написали, а только книжку «о русской интеллигенции», как значится на ее обложке. Вы пишете публицистику, достоинство которой мы еще увидим, вы пишете о конкретном, ограниченном, об явлении местном и временном, и, когда вам показывают, что в этих ограниченных пределах вы наврали, напутали, нашкодили, вы трусливо прячетесь за спину философии, делаете диверсию в сторону, чтобы и нас увлечь на ложный путь. По этому пути мы за вами не пойдём; о философии с вами спорить не станем по той простой причине, что ее у вас нет. Покайтесь, не то будете жариться в геенне огненной — это не философия. Но вы говорите о наших близких и частных делах — о нашей революции, о нашей интеллигенции и многочисленных ее прегрешениях. По этим пунктам держите ответ.

* * *

Что дало возможность семи заурядным интеллигентам надеть на себя судейские тоги, а всю остальную интеллигентскую массу посадить на скамью подсудимых? Разномыслие всегда существовало и будет существовать между людьми вообще и образованными людьми в частности. Споры всегда велись, ведутся теперь и будут вестись. Но спор — это состязание равноправных. Тут каждый чувствует себя стороной и считает себя обязанным доказывать свою правоту и неправоту своего противника. В «Вехах» же интеллигенцию даже не судят — ее виновность считается доказанной, и все сводится к тому только, чтобы из этого бесспорного факта вывести соответствующие поучения. Авторы «Вех» говорят и судят так, точно им приходится только привести в исполнение уже состоявшийся приговор. Чей? Им кажется, что они опираются на решение самой жизни. «Неудача революционного движения» — вот приговор истории над интеллигенцией. «Русская революция была интеллигентской», — говорит г. Булгаков; «вопрос о неудаче интеллигентского дела наталкивает на более общий и важный вопрос о ценности интеллигентской веры», — дополняет его г. Франк. «Революция 1905—1906 гг. и последовавшие за нею события явились как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека как высшую святыню блюла наша общественная мысль», — говорит в общем предисловии г. Гершензон. В той или иной форме высказывает ту же мысль каждый из участников сборника; без этой мысли самого сборника не было бы.

«Неудача революции» — это, выражаясь судебным языком, вещественное доказательство виновности интеллигенции. Но существует ли в действительности это вещественное доказательство, сама вещь? Действительно ли революция потерпела поражение? Когда о крушении революции говорит революционный интеллигент, то это понятно. Он ведь по природе «максималист», который на меньшем, чем спасение мира, не мирится; за это его казнят всеми казнями судьбы из «Вех». Если спросить наивного эсера, когда он считал бы революцию оконченной, он указал бы на демократическую республику и социализацию земли как на последние пределы революции. Социал-демократ, тоже наивный, указал бы на диктатуру пролетариата и также на демократическую республику. Но что, собственно, значит «неудача революции» в устах гг. Булгакова, Струве и К^о? Когда они считали бы революцию удавшейся? Если бы осуществлена

была кадетская программа с принудительным отчуждением земли и подчиненным парламенту министерством? Но где основание к тому, чтобы именно эти приобретения считать низшим пределом, за которым начинается уже неудача? Или же неудачу революции знаменует нынешнее господство реакции — правление Столыпина и Шварца, Толмачева и Думбадзе? ¹ Но когда же и где же за революцией не следовала контрреволюция? В разных местах сборника французская революция ставится в пример русской. Однако эта примерная революция закончилась, после продолжавшихся четверть века величайших потрясений, полной реставрацией, возвращением изгнанных раньше Бурбонов, подаривших французскому народу слабое подобие конституции только под давлением иностранных держав. Первая английская революция, самая величественная из всех, какие только знает история, окончилась возвращением Стюартов, и реакция установилась настолько прочно, что Карл II мог даже править без парламента целых четыре года ²; за революцией сорок восьмого года всюду в Европе последовала контрреволюция. Счастливых до конца революций история вообще не знает, и всякий, кто думал над вопросами общественной жизни, знает, что таких и быть не может. Была одна хорошая революция, да и та испортилась. Июльский переворот в Турции казался плоским умам таким умным и счастливым изобретением младотурок, и г. Изгоев не замедлил, разумеется, прекратить им русскую интеллигенцию. Но после всего того, что произошло потом в Турции, всякий Изгоев, можно надеяться, поймет, что дело было там и остается не столь простым, как казалось, и что законы истории писаны и для таких умных людей, как младотурки.

Что же в конце концов понимают философы из «Вех» под «поражением революции»? «Все осталось по-старому, теперь даже хуже прежнего» — это весьма распространенное ходячее мнение. Была, мол, революция и сплыла, оставив все на том же месте, нас только больно потрепала. Не так ли думают Струве и иже с ними? Но это ведь максимализм худшего вида, максимализм обывательский, которому чуждо всякое историческое понимание, который отождествляет многосложный и длительный процесс народной жизни со своими частными одnodневыми делами, не слышит иных звуков, кроме раскатов грома, не видит иного света, кроме блеска молнии, не замечает иного движения, кроме бурного. Кто пристально всматривается в нашу жизнь и добросовестно над ней думает, для того не может быть более двусмысленного утверждения, чем: «все ос-

талось по-старому». Даже в отношениях между властью и населением произошли бесконечно важные изменения, даже в этой наиболее доступной поверхностному наблюдению области сделаны нами неотъемлемые завоевания и несомненные приобретения. Сколько бы ни было конфискаций, штрафов, арестов, высылков, как бы велик ни был административный произвол, сумма фактически осуществляемых нами теперь свобод все-таки велика сравнительно с тем, что было в сумеречное, глухое и немое время старого режима. Бесконечно важнее этих внешних перемен перемены внутренние, обновление русского человека, можно сказать, перерождение его. Этих перемен невозможно точно определить, перечислить, невозможно указать на них пальцем. Чтобы их увидеть, почувствовать, постичь все их значение, необходимо, отвлекаясь от всего прочего, посмотреть на революцию с количественной стороны. Великое обилие и огромное напряжение, проявленное жизнью, — вот чем была раньше всего революция. Мы в месяц переживали годы, а в год — десятилетия. Были грехи, были ошибки, была доблесть, но все это переплавлялось, претворялось, уносилось одним общим потоком, глубоким и стремительным; тысячи преград были им унесены, вековые скалы размыты. Сколько старых связей было революцией разорвано, сколько было новых прикосновений, новых соединений! Последствия столь могучей деятельности, *самодетельности* не могут не быть велики и благодетельны.

Я уже много раз писал на эту тему; распространяться здесь у меня нет ни возможности, ни желания. Но разве не знаменательно, что приходится еще раз говорить об этом по поводу «Вех»? Мысль положить в основание книги, претендующей на философское значение, берущейся решать спор о религиозном и нерелигиозном мировоззрении, суммарный вывод об успехе или неуспехе революции и о виновниках такого исхода вообще нелепы и по существу недобросовестны. Если о столь сложных явлениях, как «революция», «удача революции», «неудача революции», говорить как о чем-то простом, односложном и однозначном, то ничего вообще ни доказать, ни опровергнуть, ни даже пояснить нельзя; а от «революции» к «религии» уже по-давно прямыми путями не дойдешь. Но, усевшись именно на неудаче революции, обличители выдали себя с головою. Они расписались этим во всех тех грехах, за которые так яростно нападают на интеллигенцию; они показали этим, что «портреты они пишут» раньше всего с себя. Максимализм, историческое непонимание, политическая неделовитость — все это ведь

собрано, как в фокусе, в исторически неверном, политически вредном, поверхностном и легкомысленном утверждении: «революция провалилась». И какое значение мы можем после этого придавать всем разговорам этих людей о политическом воспитании, об историческом опыте, об «исторической трезвости, самообладании, выдержке», противопоставляемых «исторической нетерпеливости», если они в оценке нашей родной действительности, важнейших сторон ее выказывают себя ребячески-наивными, детски-невежественными? Очевидно, все это только слова, взятые напрокат из душеспасительных книжек, как они раньше брали другие слова из других книжек.

II

Мы оценивали до сих пор вещественное доказательство вины. Но кто же обвиняемый, кого судили и осудили, кто эта интеллигенция, столь богатая грехами? Оказывается, этого не знают твердо и сами судьи. Единогласно осудили Ивана. Но один из судей имел в уме давно умершего Ивана Грозного, другой — мифического Ивана Купалу, третий — Ивана вообще, какой ни случится. По г. Гершензону, «интеллигенция ведет свою родословную от петровской реформы», «душа интеллигенции — это создание Петрово», — говорит в согласии с ним г. Булгаков. Значит, интеллигенция — то же, что образованное общество? Но г. Гершензон противопоставляет интеллигенции славянофилов и глубочайших мыслителей. Значит, интеллигенция — то же, что западники, минус глубокие мыслители? Г. Изгоев говорит об «интеллигентной молодежи» без подразделения и расчленения. Г. Бердяев, наоборот, в самом начале выделяет из всей массы образованного общества, из интеллигенции в широком смысле «кружковую интеллигенцию». Г. Струве также относит к интеллигенции только часть «образованного класса», но выкраивает он ее по-своему, и можно лишь догадываться, что она целиком или частью совпадает с «кружковой интеллигенцией» Бердяева. Гг. Кистяковский и Франк не потрудились даже намеком указать, кого судят; и только из содержания их статей можно, кажется, заключить, что первый говорит обо всем образованном обществе, второй — о некоторой части его.

Люди собрались в поход и не сговорились против кого, — это определяет меру их политической деловитости. Они судили и осудили, не зная, кого именно, — это может служить нам

указанием, как сильно в них чувство ответственности. Люди решают «основной вопрос жизни» и одним и тем же словом обозначают разные вещи — это указывает степень их приверженности к теоретической истине. Наконец, они ведут общий разговор, и притом на людях, и не смущаются, что, как во время столпотворения, языки у них разные и они друг друга не понимают, — это устанавливает уровень их культуры.

Однако двусмысленность слова «интеллигенция» в книге значит для нее и ее авторов гораздо больше, чем просто неясность, неопределенность и некультурность; она имеет для них роковое значение. Без нее книга не могла бы явиться, с нею она обличает только творцов своих, вскрывает их подоплеку. Если не считаться с пошлостью и тупостью гг. Гершензона и Изгоева, приписывающих русской интеллигенции всевозможные пороки, в действительности свойственные ей, конечно, не больше, чем людям вообще, то все обличения авторов «Вех» сведутся к одному: великий грех русского интеллигента в том, что он продал душу свою политике. «К философскому творчеству интеллигенция относилась аскетически, требовала воздержания во имя своего бога — народа, во имя сохранения сил для борьбы с дьяволом — абсолютизмом», — говорит г. Бердяев; отсюда и вытекает, что интеллигентская правда враждебна философской истине. То же в сущности говорят все прочие авторы сборника. Г. Булгаков выводит новый грех русской интеллигенции — героизм — из ее неизменного «стремления к спасению человечества... от страдания», т. е. из той же политики. Г. Гершензон усматривает беду в том, что русский интеллигент с юных лет живет «вне себя» и достойными своего интереса и участия признает лишь «народ, общество, государство». Г. Струве говорит совершенно то же (с. 142), но по своему обыкновению туманнее. Г. Франк выводит открытый им в интеллигенте порок — нигилизм, то есть равнодушие к отвлеченной истине и красоте, — из того, что его, интеллигента, «символ веры есть *благо народа*». Представьте себе теперь, что под интеллигенцией мы должны понимать все образованное общество. Значит все оно поработчено политикой и на Божий мир, на все его красоты и ценности смотрит исключительно с точки зрения «право» и «лево». Если бы это действительно было так, если бы такое состояние продолжалось более или менее долго, было хроническим, то нации несомненно угрожала бы гибель. И если не кисло-сладкая проповедь, то тревожный барабанный бой был бы великой заслугой перед нею. Но это не так и не могло быть так. Уже от Струве его сотоварищи могли узнать,

что национальная литература не подпала под власть политики — «великие писатели Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Чехов не носят интеллигентского лика». Но кроме литературы осталось, разумеется, свободным от гнета политики — я говорю, конечно, не о канцелярском гнете — еще многое другое: наука — творчество Лобачевского и Чебышева, Менделеева и Мечникова, Соловьева и Потебни; искусство — Глинка и Чайковский, Репин и Левитан и т. д. Средняя образованная публика, высших ценностей не создающая, занимающаяся своими частными делами, наполняющая театры и клубы и разъезжающая по заграницам, тоже, конечно, не была в рабстве у политики, у политической идеи. Условия нашей жизни толкали ее в эту сторону, и в известной мере она проникнута была общественно-политическими интересами. Но это не только не принижало ее, а поднимало. Именно это обстоятельство придавало ей те особые черты, благодаря которым она всегда могла противопоставить себя западноевропейскому «мещанству» как нечто высшее низшему; это общеизвестный факт.

Из всего этого вывод такой: если интеллигенция значит все образованное общество, то неправильно утверждение, что для нее весь мир сошелся на политике. О какой же части русского образованного общества можно с некоторым основанием — без нелепых преувеличений, конечно, — утверждать это? О «кружковой интеллигенции», т. е. о той части образованного общества, которая посвятила себя непосредственной или посредственной борьбе за улучшение строя общественной жизни, именно «внешнего устройства» ее. Порок, открытый «веховцами» в русской интеллигенции, мы должны будем тогда определить так: люди, посвятившие себя определенному делу как важнейшему, считают его важнейшим. Как видите, это такой же грех, как то, что Иван есть Иван, белое есть белое, черное — черное. Ясно, что если *эта* интеллигенция раньше всего спрашивает, «лево» или «право», за нас или против нас, — то она делает именно то, что должна делать. Конечно, такая односторонность может перейти в уродливость, вредную для того самого дела, которое ее вызвало. Но и всякая добродетель может перейти в порок. Для судьи обязательно беспристрастие, для воина — мужество. Однако беспристрастие может перейти в нерешительность, мужество — в жестокость, и в каждом отдельном случае такого извращения может и должно быть указано на него; но никто же не станет требовать, чтобы судьи перестали быть беспристрастными, стражи зоркими, учителя

терпеливыми. Так же не могла «кружковая» интеллигенция, оставаясь тем, чем она хотела и должна была быть, не подчинять политическому интересу всех прочих.

Общий вывод. О порабощении всего образованного общества политикой смешно говорить; та часть, к которой это выражение применимо, для того и предназначена. Теперь, надеюсь, ясно, что «Вехи» не увидели бы мира и мир не увидал бы «Вех», если бы авторы потрудились выяснить себе заблаговременно, с кем они собираются воевать.

Мы еще вернемся к двусмысленности слова «интеллигенция» в «Вехах», и тогда она вскроет пред нами сущность не книги, ее авторов. Сейчас мы должны остановиться еще на одном вопросе. Пусть революция провалилась. Пусть мы знаем и авторы сборника твердо знают, что такое интеллигенция. Но откуда же следует, что провал и интеллигенция связаны между собой как следствие и причина, что провалила революцию именно интеллигенция. На протяжении всего сборника это рассматривается как вещь, сама собою понятная. Но ведь само по себе утверждение, что все пропало оттого, что интеллигенция оказалась фефелой³, несколько не убедительнее и не лучше утверждения, что всему виной фефела-народ. И какая же разница тогда будет между религиозными, чуть не святыми интеллигентами из «Вех» и совсем безрелигиозным интеллигентом, в свое время нашумевшим Энгельгардтом из понедельничной газеты⁴. Впрочем, г. Франк берется доказать вину интеллигенции в провале революции, и посмотрите, как он это делает. «Бессилие общества, обнаружившееся в этой политической схватке, есть не случайность и не простое несчастье, — поучает он нас; — с исторической и моральной точки зрения это есть его *грех*». Как видите, речь здесь пока идет о грехе всего общества, но тут же философ Франк одним ловким движением ставит на место всего огромного общества маленькую кучку интеллигенции. «И так как, — продолжает он, — в конечном счете все движение как по своим целям, так и по своей тактике было руководимо и определяемо духовными силами интеллигенции», то возникает вопрос о ее виновности, а раз вопрос поставлен, ответа ждать недолго. Г. Франк, очевидно, уверен, что программы и тактические директивы, сочинявшиеся в интеллигентских кружках, были единственной или, по крайней мере, важнейшей двигательной силой революции, если он полагает, что «в конечном счете» движение было не только руководимо, но и *определяемо* силами интеллигенции, ибо определяет исход важнейшая сила, большая, чем все прочие, вместе

взятые. Ясно, что г. Франк принимает за доказанное то именно, что взялся доказать.

Скажу здесь попутно, что произвольными утверждениями, наобум брошенными фразами, грубейшими нарушениями элементарной логики полна вся книга — не только те части ее, в которых сосредоточился обличительный азарт авторов, о чем в печати уже немало говорили, но и ее, так сказать, чисто философские страницы. Поставив себе задачей разбор общих положений сборника, я не могу здесь следить за бесчисленными ошибками каждого автора в отдельности. Приведу только один курьезный пример из статьи того же Франка, едва ли не самой толковой во всем сборнике. Высказав предположение, что «самая замечательная особенность новейшего русского общественного движения, определившая в значительной мере его судьбу, есть его философская недодуманность и недоговоренность, попрекнув русскую революцию английской и французской, «которые пытались осуществить новые, самостоятельно продуманные и сотворенные философские идеи и ценности», г. Франк указывает на то, что корни «социалистической идеи, владеющей умами интеллигенции», восходят к XVIII веку. «И воспринимая эти почтенные идеи, из которых большинство уже перешагнуло за столетний возраст, мы совсем не останавливаемся сознательно на этих корнях нашего мирозерцания». Моим умом социалистическая идея не владеет и никогда не владела, в «Лассалья и Маркса» не верую, но не могу не признать всего изложенного выше рассуждения г. Франка сплошным набором произвольных утверждений и пустых фраз. Неверно, будто социалистическая идея была идеей всей русской революции. Рядом с ней жили идеи либеральная и демократическая — достаточно вспомнить роль «Союза освобождения», земских съездов, деятельность кадетской партии. Тут опять целому приписывается то, что свойственно только части. Неверно, будто русской интеллигенцией социалистическая идея «заимствована в том виде, в каком она выкристаллизовалась на Западе». Целые десятилетия велся ожесточенный спор между марксистами и народниками о русской социологии, вернее — о русском социализме. Этим самым падает обвинение в непродуманности. Для большинства последователей идея, конечно, остается непродуманной, но таковой остается для большинства образованных людей также идея о шарообразности земли и даже таблицы умножения. Вожди же старались, как умели, продумать. Но самое курьезное — это попрек «столетним возрастом» идеи русской интеллигенции. Можно поду-

мать, что идея — это девица на выданье, невеста, которая тем хуже, чем старше. Заглянул бы г. Франк в свидетельство о рождении предлагаемой им невесты, религиозной идеи, и он, может быть, не поднял бы щекотливого вопроса о возрасте: ведь ей за три тысячи лет перевалило. А от своего соседа, г. Булгакова, любитель молоденьких идей мог бы узнать, что и идеи французской революции, «просветительство», тоже не так новы, и корни их через реформацию и гуманизм восходят до классической древности. Если мы теперь припомним все сказанное выше, то мы увидим, что самое характерное в разбираемой нами книге — это огромное преувеличение роли интеллигенции и неустойчивое значение этого слова, то расширяющегося до понятия «образованное общество», то суживающегося до понятия «политическая интеллигенция», то, чаще всего, еще более суживающегося до «социалистической интеллигенции». И в этой черте — объяснение появления этой сумбурной, плоской и недостойной книги. Попробуйте мысленно найти в сердце нашей интеллигенции какую-либо другую группу, кроме этой, из рук которой могла бы выйти книга, подобная «Вехам». Я не говорю об явно неприличном тоне сборника, а обо всем складе его. Попробуйте, и вы увидите, что о ком бы вы ни подумали, на какой группе вы бы ни остановились, это значило бы незаслуженно оскорбить ее. Подумайте, например, о группе «Вестника Европы», умеренном крыле нашей либерально-демократической интеллигенции. Никогда эти цельные, сознательно умеренные люди не могли бы построить системы на таком плоском максимализме, как «революция провалилась», никогда они не смешивали бы интеллигенцию вообще с социалистической интеллигенцией; это было бы для них психологически невозможно. Перенеситесь в гнездо реакции и вообразите себе автором книги об интеллигенции покойного Победоносцева. Его книга была бы, конечно, проникнута строгим консерватизмом и строгой религиозностью, и провал революции он уже во всяком случае не пороками интеллигентской кучки объяснял бы, а доблестями народной массы, верующей и верной, устойчивой и покорной. «Вехи» могли созреть только в умах людей, в душах которых, как в сорном ящике всякие отбросы, скопились обломки всех вер, но ни одна не ночевала дважды. Авторы «Вех» в течение нескольких лет служили ведь поочередно всем богам. Это — подлинные изгои, блуждающие души. Если интеллигенция — отщепенцы, то в «Вехах» собрались отщепенцы в квадрате. В качестве сегодняшних национал-либералов они ненавидят социалистическую интеллигенцию; в ка-

честве вчерашних марксистов они ставят социалистическую интеллигенцию в центр мира и говорят о провале революции; в качестве новоиспеченных исповедников они что-то лепечут о религии и хулят людей, занимающихся «внешним устройством жизни».

Под категорию блуждающих душ не подходит из всех участников сборника один только, кажется, г. Гершензон. Заняться особо его психологией вряд ли представляет интерес. Но с внешней стороны участие этого человека, никогда в общественных делах не участвовавшего и общественными вопросами не занимавшегося, в походе против русской интеллигенции напоминает мне сцену, которую я несколько лет тому назад наблюдал в небольшом городке на юго-западе. Повздорил кто-то с кем-то на улице. Не успел я оглянуться, как собралась толпа и началась драка. Вижу, к толпе приближается знакомый мне еврейский «мешурес», здоровенный парень, и опускает кулак на первого попавшегося.

— За что ты, Хаим, бьешь человека? — спрашиваю я его.

— Люди бьют, и я бью, — ответил он спокойно.

(В защиту интеллигенции. Сб. статей. М., 1909. С. 48—65; первоначально опубли. в «Бодром слове». (1909. № 8))

